

Андрей Краснящих Шолом-Алейхем

*Человек подобен
столяру: столяр живёт,
живёт и умирает, и
человек — тоже.*

Шолом-Алейхем

«Я еврейский народный бытописатель, пишущий на еврейском разговорном наречии, именуемом жаргоном ...»

Синеглазый; длинные каштановые, очень светлые волосы (кто-то из современников говорит о нём даже: блондин); очки: имел привычку смотреть на собеседника поверх очков. Небольшого роста, хрупкий, стройный; гордился своей молоджавостью, внукам запретил называть себя дедушкой — только папой; радовался, что у него нет ни одного седого волоска.

Щёголь, всегда элегантно одетый, следящий за своим костюмом — вельветовые пиджаки, цветные жакеты, особым способом повязанный шёлковый галстук. «Трудно было поверить, что этот разодетый франт, в шляпе набекрень, с видом

полуартиста-полубиржевика — знаменитый писатель».

Знаменитый, как никто из еврейских писателей его времени. Каждая еврейская семья считала необходимым купить тоненькую пятикопеечную брошюрку с его рассказом на субботу, иначе это будет не суббота. «Я люблю три вещи, три вещи я люблю: газеты, молочную кухню и евреев». А ещё всякие мелочи — игрушки и безделушки. Приезжая в новый город, бегал по магазинам в поисках брелоков, цепочек, колечек. Игрушечный велосипедик с крутящимися колёсиками у него на столе никому нельзя было трогать; кто трогал, тотчас получал ножницы и бумагу: «Нате, занимайтесь делом, нарежьте полоски!»

«... любил мастерить. Свой зонтик он приспособил так, что мог сидеть под ним и писать на берегу моря, как под большим тентом. И дома он построил скамейку-кровать, где ему было удобно писать полулёжа». Чёткий, красивый почерк; вообще обожал порядок и чистоту, безобразия не выносил — эстет: «Раз он невзлюбил мамину шляпу; так как она долго не могла собраться купить себе другую, он разрезал шляпу пополам и повесил на стенке».

«Он любил всё маленькое: маленьких детей, маленьких животных, маленькие огурцы,

помидоры, кармашки для часов, маленькие предметы, письменные принадлежности». Всегда носил с собой двое часов — на длинных цепочках; одни — в правом, другие в левом кармане жилета. На вопрос «Который час?» доставались одновременно».

Остроумие — «... это самое еврейское дело. Когда еврей не расположен пошутить?» «Если Вас удивляет всегда весёлый тон моих писаний, то я должен Вам сказать, что тон этот сообщается мне самую жизнью моего причудливого народа ...»

Отвечал на все письма, деньги раздавал по первой просьбе — любому.

Свою семью называл «республика». Закончив рассказ, объявлял об этом жене и детям. «И все в доме готовились к семейному празднику. С утра уже знали, что вечером Шолом-Алейхем будет читать новый рассказ. Готовились, как к премьере. Одевались празднично, взволнованно ожидали появления отца из кабинета».

«Читал Шолом-Алейхем просто, без признаков театральности, без жестов, без актёрской мимики и без особо подчёркнутых интонаций. И всё же его исполнение было очень выразительным. Читая, он делал неожиданные акценты, секрет которых знал только он, так что слышимое становилось зримым».

«Я был и учителем, и купцом, и казённым раввином, и банкиром, и сотрудником газет и журналов, и биржевым дельцом, и редактором-издателем, и посредником по части купли и продажи имений. Имею также... но это неинтересно».

«Многие годы Шолом-Алейхем был для еврейской писательской братии ... загадкой. Даже тогда, когда уже часто печатался и обрёл популярность в читательской среде, для писателей он всё ещё оставался терра инкогнита. О нём ходили легенды: сидит, мол, в Киеве в окружении миллионеров, и сам был им, живёт на широкую ногу и между делом пишет, много пишет неустанным пером».

Утверждали, что писал он быстро, легко, без усилий, но это не так. Над некоторыми произведениями работал годами, правя, редактируя, переписывая по пять раз. «Рука стремительно и легко двигалась по бумаге вслед за мыслью. Но написанное он коренным образом перерабатывал, зачёркивая строки и абзацы, вырывая целые страницы. Нумерация страниц его рукописей была неточной. К одной и той же странице он добавлял множество других с буквенными обозначениями латинского алфавита. Нередко он к одной странице приклеивал другие, и они вытягивались, словно свиток. Он любил возиться с рукописью: клеить,

переплетать, вносить исправления разными чернилами. ... Он окружал себя инструментами и необходимыми для письма принадлежностями: перьями, ножницами, щипчиками, клеем, блокнотами разных цветов и размеров». И когда переписано набело и отослано в журнал или издательство — вдогонку летели телеграммы: вот то и то — изменить.

Писал стоя, за высоким столиком для письма, вращавшимся в любую сторону (за письменный стол садился, лишь чтобы склеивать рукописи). А вообще — везде, при любых обстоятельствах: «на разделочной доске, на самоварном подносе, на дне опрокинутой бочки, в трамвае». «Меня спрашивают те, кто меня знает и видит каждый день, когда я пишу? Я, право, сам не знаю. Вот так я пишу: на ходу, на бегу, сидя в чужом кабинете, в трамвае, и как раз тогда, когда мне морочат голову по поводу какого-нибудь леса, либо дорогого имения, какого-нибудь заводика, — как раз тогда вырастают прекрасные образы и складываются лучшие мысли, а нельзя оторваться ни на минуту, ни на одно мгновение, чтобы всё это запечатлеть на бумаге, — сгореть бы всем коммерческим делам! Сгореть бы всему миру! А тут приходит жена и говорит о квартирной плате, о деньгах на правоучение в гимназии; мясник — джентльмен, он согласен ждать; лавочник зато подлец — он отказывается

давать в кредит; адвокат грозит описать стулья (глупец! он не знает, что они уже давно описаны)...»

Если образы приходили по ночам — что ж, значит, не спать всю ночь. Бывало — и нередко, — сочинялось на ходу. «Лучшие главы «Мальчика Мотла» были им придуманы во время прогулок по тихим улочкам Женевы и городским паркам в сопровождении детей».

«Когда Шолом-Алейхем сочинял, он становился предельно сосредоточенным: ничего не видел и никого не слышал Во время прогулок вдруг останавливался, запрокидывал голову и долго, неподвижно смотрел в небо В кресле за письменным столом клал ногу на ногу и прижимал перо к правому уху, будто слушал его. Часто проговаривал про себя слова, выверяя их ритм. Мог неожиданно, не прерывая писания, залиться громким смехом и продолжал писать и смеяться, даже если кто-то входил к нему в комнату. Работал он интенсивно, опьянённо, отчаянно покусывая пальцы, иногда до крови, потому часто работал в перчатках, но и они не спасали».

Был суеверен и никогда не нумеровал страницы своих рукописей 13-м числом, а только 12-а. В начало рукописи ставил свою печать: две руки в пожатии и под ними — «Schalom-Aleichem» («Мир вам!») — «Здравствуйте»). (Мы его

псевдоним пишем немного не так, как он сам по-русски: «Шалем-Алейхем» подписывал он письма русским писателям — Горькому, Чехову, Льву Толстому. И по-русски называл себя: Соломон Наумович Рабинович.)

Иной раз ничего не мешает и не отвлекает, но не пишется — и день, и два. Или пишется, и много — а потом перечитывается, переписывается и всё равно сжигается. «Вы ведь знаете, я всем доверяю, но не себе. Внутри меня сидит какой-то бес, который подтрунивает, хохочет и издевается над моим писанием. Стоит мне что-нибудь написать и прочитать с энтузиазмом, как, по обыкновению, мой бес свистит губами и смеётся глазами. Удалось бы мне его схватить, я бы его задушил! Иногда бывает, что он меня серьёзно выслушивает и качает головой. Я это принимаю за одобрение и написанное отправляю в типографию. Вот когда бес раздражается злорадным смехом, сгореть бы ему!»

Третий сын в большой еврейской семье, Шолом Рабинович родился 18 февраля (2 марта по новому стилю) 1859 года в Переяславе, тогда Полтавской губернии (теперь это Переяслав-Хмельницкий Киевской области). Вскоре после его рождения вся семья переехала в близлежащее местечко Воронково (Воронка): «Небольшой городишко эта Воронка, но красивый, полный прелести. Его можно пройти вдоль и

поперёк за полчаса, если вы, конечно, в силах это сделать и у вас есть ноги. Без железной дороги, без гавани, без шума, всего с двумя ярмарками в год: «Красные торги» и «Покров», придуманными специально для евреев, чтоб они могли поторговать и заработать кусок хлеба. Маленький, совсем маленький городишко, но зато полный таких удивительных историй и легенд, что они сами по себе могли бы составить целую книгу»¹, — напишет Шолом-Алейхем в автобиографическом романе «С ярмарки».

Под названием Касриловки Воронка войдёт в большинство его произведений и станет обобщённым образом еврейского украинского местечка рубежа XIX–XX веков. В рассказе «Город маленьких людей» Шолом-Алейхем пояснит, почему Касриловка: «Город маленьких людей, куда я ввожу тебя, друг-читатель, находится в самой середине благословенной «черты». Евреев туда натолкали — теснее некуда, как сельдей в бочку, и наказали плодиться и множиться; а название этому прославленному городу — Касриловка. Откуда взялось название Касриловка? Вот откуда. В нашем быту бедняк, всякому известно, имеет великое множество названий — и человек скудного

¹ Перевод Б. Ивантера и Р. Рубиной.

достатка, и впавший в нищету, и просто убогий, и до чего же убогий, нищий, побирушка, бродяжка, попрошайка и бедняк из бедняков. Каждое из этих перечисленных названий произносится со своей особой интонацией, со своим особым напевом... И есть ещё одно обозначение бедняка: касриел, или касрилик. Это название произносится с напевом уже совсем другого рода, к примеру: «Ой и касрилик же я, не сглазить бы!..» Касрилик — это уже не просто бедняк, неудачник, это уже, понимаете ли, такой породы бедняк, который не считает, что бедность унижает, упаси боже, его достоинство. Наоборот, она — даже предмет гордости! Как говорится, нужда песенки поёт...»²

Второй часто встречающийся в произведениях Шолом-Алейхема придуманный топоним — Егупец, «Египет» на идише. Это Киев — как когда-то Египет, место пленения и рабства евреев, где они жили бесправно и поднадзорно.

Здесь следует приостановиться и пояснить молодому — да и, собственно, любому — читателю, что такое «еврейское местечко», «черта» и жизнь еврея в тогдашнем Киеве и в Российской империи вообще, — иначе дальнейший разговор о

² Перевод И. Гуревича.

еврейском писателе Шолом-Алейхеме будет абстрактным и малопонятным.

«Черта оседлости» (а юридически полнее — «черта постоянной еврейской оседлости») существовала в Российской империи с 1791-го по 1917 год ³ и была восточной границей, за пределами которой иудеям (разделение граждан тогда проходило по вероисповеданию, а не по

³ Начало формированию «черты оседлости» положил в 1791 году указ Екатерины II, изданный в ответ на жалобы московского и смоленского купечества, опасавшегося конкуренции со стороны евреев, доставшихся России после первого передела Польши в 1772 году. Этот указ ограничивал особым списком местности, в которые евреям дозволялось записываться в сословия. В 1804 году список мест оседлости был закреплён в «Положении об устройстве евреев», в основу которого легло «Мнение» («Об отвращении в Белорусии голода и устройстве быта евреев», 1800) сенатора и поэта Гавриила Державина. Сам термин (первоначально «черта постоянного жительства евреев») впервые появился в 1835 году в «Положении о евреях» Николая I. Наконец, во «Временных правилах для евреев» 1882 года, над которыми после убийства Александра II работала правительственная комиссия во главе с обер-прокурором Священного синода Константином Победоносцевым, зона проживания и сферы деятельности, дозволенные евреям, были окончательно установлены и регламентированы. «Черта оседлости» была отменена после Февральской революции Временным правительством.

национальному признаку, и крещёных евреев ограничение в правах не касалось) селиться было запрещено. Во времена Шолом-Алейхема «черта» охватывала двадцать пять российских губерний из пятидесяти одной, все — на западе страны: Бессарабскую, Виленскую (Вильно — Вильнюс), Витебскую (включая уезды, ныне относящиеся к Псковской и Смоленской областям и Латвии), Волынскую, Гродненскую, Екатеринославскую (сейчас — Днепропетровская), Киевскую, Ковенскую (Ковно — Каунас), Минскую, Могилёвскую, Подольскую (с центром в Каменце-Подольском), Полтавскую, Таврическую (с центром в Симферополе), Херсонскую, Черниговскую (с уездами, которые в настоящее время в составе Брянской области), а также все десять губерний царства Польского, которое с 1815-го по 1917 год находилось в унии с Россией. Из этой зоны, где было разрешено проживать иудеям, были исключены военно-стратегические города Николаев и Севастополь, с 1893 года — Ялта, где летом отдыхала царская семья, и колыбель православия Киев, в котором евреям для проживания были выделены отдельные улицы, иногда не целиком, а только нечётная их сторона.

Однако и в самой «черте» евреи могли селиться не где хочется, а в специально оговорённых городках — местечках (от польского

«мястечко», что и значит «городок»), населённых пунктах полугородского типа, чем-то средним между городом и деревней, с населением двадцать — двадцать пять тысяч человек. Жить в сельской местности и владеть землёй евреям запрещалось, только арендовать.

Для выезда за пределы «черты» евреям нужно было получить разрешение местной полиции или губернской администрации, которое давалось лишь для торговых, судебных или наследственных дел и на срок до полугода (с правом продления ещё на два месяца). Право на постоянное пребывание вне «черты» могли получить лица с высшим образованием и их семьи, купцы первой гильдии (пребывающие в этом состоянии не менее пяти лет) и их семьи и домашние учителя, зарегистрированные проститутки, техники, «бессрочно отслужившие установленный срок в армии» (так называемые «николаевские солдаты»: впервые в российскую армию евреев начали призывать по указу Николая I в 1827 году; брали в армию с двенадцати лет), а также евреи-караимы, средний медицинский персонал, отставные нижние чины и ремесленники особой квалификации в необходимых отраслях (но не типографские наборщики, землемеры, фотографы, каменщики, каменотёсы, плотники, штукатуры, настройщики музыкальных инструментов, рыболовы и др. —

представителям этих ремёсел в разрешении на проживание вне «черты» отказывалось) и ещё родители, чей ребёнок обучался в гимназии, и приказчики, служащие у купцов первой гильдии. Кроме занятия земледелием, евреям было запрещено работать на промышленных предприятиях и служить в государственных учреждениях. Процентная норма для поступления в гимназии, институты и университеты устанавливалась Министерством народного просвещения индивидуально для каждого учебного заведения, но никогда не превышала десяти процентов и обычно держалась около пяти, а в некоторые гимназии и высшие учебные заведения евреев не принимали вообще, даже крещёных.

В XIX веке из 5,2 миллиона евреев Российской империи в Украине жило более двух миллионов; в местечках Правобережья еврейское население достигло 80 % их жителей. Ограниченные в правах на поселение, передвижение, образование и в выборе рода деятельности, местечковые украинские евреи, в основном (три четверти) были ремесленниками и мелкими торговцами: лавочниками, шинкарями, портными, сапожниками, ювелирами; а остальная, четвёртая, часть занималась ростовщичеством, контрабандой, маклерством, содержала трактиры и заезжие двory. Распространённой сферой

деятельности украинских евреев были и разного рода аренды, а также свободные профессии: фотограф, врач, адвокат, музыкант, актёр. Большинство местечковых евреев кормилось случайными заработками и едва сводило концы с концами, многие жили на милостыню или на благотворительные пособия.

В Воронкове отец Шолома — Менахем-Нохум Вевикович Рабинович (1830–1888) — считался богачом; преуспевающий торговец и арендатор, он был уважаемым в городе человеком: не только богатство, уважение вызывали его образованность, начитанность, набожность. В романе «С ярмарки» Шолом-Алейхем даёт его портрет: «Высокий человек с вечно озабоченным лицом, с широким белым лбом, изрезанным морщинами, с редкой смеющейся бородкой, человек почтенный и богомольный, знаток Талмуда, Библии и древнееврейского языка ..., арбитр и советчик, отличающийся пытливым умом, шахматист, человек, знающий толк в жемчуге и брильянтах Дел у него было бесконечное множество. Он был арендатором, держал земскую почту, торговал зерном, грузил берлины ⁴ на Днестре, рубил лес,

⁴ *Берлина* — речная деревянная баржа.

ставил скот на жмых. Однако кормил семью «мануфактурный магазин» Впрочем, это только одно название «мануфактурный магазин» Там была и галантерея, и бакалея, и овёс, и сено, и домашние лекарства для крестьян и крестьянок, и скобяные товары» ⁵.

Магазином занималась мать семейства — Хая-Эстер: «...женщина деловитая, проворная, исключительно строгая с детьми. А детей было немало — черноволосых, белокурых, рыжих, — больше дюжины, самых различных возрастов» ⁶. Как и в любой многодетной семье того времени, кто-то из них умирал — от оспы, кори, других болезней, — рождались новые. Времени на воспитание детей и ведение домашнего хозяйства у матери не оставалось, и они были отданы в крепкие руки Фрумы — рябой, кривой, но исключительно честной и преданной служанки, будившей, умывавшей, причёсывавшей детей, произносившей с ними утреннюю молитву, кормившей их, отводившей в еврейскую школу — хедер; забиравшей из хедера, кормившей, читавшей с

⁵ Перевод Б. Ивантера и Р. Рубиной.

⁶ Перевод Б. Ивантера и Р. Рубиной.

ними вечернюю молитву и укладывавшей их спать. По шее (точнее — по щекам), если что, эта орава тоже получала от Фрумы, Шолом — сорванец из сорванцов — чаще остальных. «— Вот увидите, ничего хорошего из этого ребёнка не выйдет! Это растёт обжора, Иван Поперило, выкрест, выродок, чёрт-те что — хуже и не придумаешь!»⁷ Впрочем, в хедере — содержавшейся на средства кагала (общины) начальной религиозной школе, в которую все еврейские мальчики ходили с четырёх лет, — Шолом учился лучше всех. Хедер располагался в одной из комнат квартиры учителя — меламеда; занятия проходили с раннего утра и до семи-восьми часов вечера; самые маленькие ученики изучали алфавит древнееврейского языка и учились читать, постарше — с пяти-шести лет — проходили Тору (Моисеево Пятикнижие); с восьми лет всё учебное время отводилось под изучение Талмуда — многотомного свода правовых и этических правил и законов иудаизма. Светские и общеобразовательные предметы в хедере, как правило, не преподавались, русский язык тоже. В романе «С ярмарки» Шолом-Алейхем напишет, что меламед Зорах — учитель Торы — пытался, кроме еврейского, обучать детей русскому, немецкому,

⁷ Перевод Б. Ивантера и Р. Рубиной.

французскому и латинскому, но тут же добавляет, что «ни сам учитель, ни дети не имели никакого представления о всех этих языках».

Для непосед и озорников у меламеда был специальный кнут — канчик. Шолом тоже с ним быстро познакомился. Но если другим детям канчик перепадал за невнимательность, лень и тупость, то Шолому — исключительно за шалости: «Копировать, подражать, передразнивать — на это наш Шолом был мастер. Увидев кого-нибудь в первый раз, тут же находил в нём что-либо неладное, смешное, сразу надувался, как пузырь, и начинал его изображать. Ребята покатывались со смеху. А родители постоянно жаловались учителю, что мальчишка передразнивает всех на свете, точно обезьяна. Надо его от этого отучить. Учитель не раз принимался «отучать» Шолома, но толку от этого было мало. В ребёнка словно бес вселился: он передразнивал решительно всех, даже самого учителя — как он нюхает табак и как семенит короткими ножками, — и жену учителя — как она запинается, краснеет и подмигивает одним глазом, выпрашивая у мужа деньги, чтобы справить субботу, и говорит она не «суббота», а «шабота». Сыпались тумачи, летели оплеухи, свистели розги! Ох и розги! Какие розги! Весёлая была жизнь!»⁸

⁸ Перевод Б. Ивантера и Р. Рубиной.

— напишет Шолом-Алейхем в «С ярмарки». А в незавершённом рассказе «Среди мертвецов» скажет: «... у меня, не про вас будь сказано, с детства ещё эта болезнь... Мне смешно, — я не виноват! Хотел бы я иметь столько счастливых лет, сколько оплеух получил я за это от отца, матери и ребе. Раз уж напал на меня смех — не помогали никакие молитвы; чем больше меня били, тем больше я смеялся. Однажды отец избил меня до крови; он сказал, что теперь раз и навсегда он выбьет из меня этот смех! Еле живым вырвала меня мать из его рук и сказала: — Горе мне, горе мне! Я дам тебе совет, дитя моё: когда на тебя опять нападёт этот смех, подумай о покойниках»⁹.

Одержимый «бесом», «болезнью» пересмешничества, Шолом-Алейхем до конца жизни останется мальчишкой. Ляля Рабинович в воспоминаниях об отце напишет: «Люди приходят разные... Разные люди. Отец говорит с ними серьёзно, но его глаза!.. Мы уже знаем: он «представляется». Ах, как он хорошо умеет «представляться»! Он — замечательный актёр.

⁹ Цит. по: *Серебряный И. А.* Шолом-Алейхем и народное творчество / Пер. с евр. Р. Миллер-Будницкой. — М.: Сов. писатель, 1959.

Если бы он не был писателем, он, наверное, был бы актёром. Потом, когда «гость» уйдёт, отец «представит» его, и мы будем хохотать... Да, смеяться, высмеивать мы любим. Он научил нас».

В хедере Шолом прослыл комиком и шутком, за постоянные насмешки надо всем и вся его прозвали Заноза. Заноза — так Заноза; он не возражал, он и сам любил давать клички. В актёрстве и умении подражать Шолому не уступал только его приятель Меер, сын нового раввина — Хаима Бернштейна из Медведевки. Большой бездельник, что касается учёбы, Меер обладал талантом певца и актёра и исполнял любую песню так, что заслушаешься, — правда, не бесплатно, за грош или пол-яблока. Два актёра — это уже почти театр. Любимым развлечением мальчиков стало разыгрывание комедий на библейские темы: «Продажа Иосифа», «Исход из Египта», «Десять казней», «Пророк Моисей со скрижалями». Они даже на пару сочинили (и это, видимо, можно считать первым произведением будущего писателя — в соавторстве) пьесу «Разбойники» и собственными силами поставили её, залучив в качестве статистов товарищей по хедеру. У Шолома и Меера были главные роли: Меер играл разбойника, у него в руках была огромная дубина, которой он угрожал бедному горбуну-еврею, заблудившемуся в лесу (кто играл бедного еврея —

понятно, а лес как раз изображали статисты). Разбойник вынимает из отцовского кушака нож и подступает к Шолому с подушкой на спине, распевая по-русски: «Давай де-е-ньги! Давай де-е-ньги!» Еврей — он же бедный, у него нет денег, он просит разбойника сжалиться над ним ради его жены и детей, которые без него останутся вдовой и сиротами. Но русский разбойник не знает жалости, он поёт весёлую песенку о том, что должен во что бы то ни стало вырезать всех евреев, потом хватает Шолома за горло и кидает на землю... Тут приходит меламед — отец Меера — и всех разгоняет; это уже не по сценарию. «Негодяй, бездельник, выкрест», — ругает он своего сына и не сильно ошибается: через какое-то время Меер вырастет и крестится, и станет прославленным на весь мир российским певцом и музыкальным педагогом Михаилом Ефимовичем Медведевым.

Был у Шолома ещё один друг детства, о котором он будет вспоминать всю жизнь: сирота Шмулик, знавший и умевший замечательно рассказывать легенды, сказки и разные истории: «... о царевиче и царевне, о раввине и раввинше, о принце и его учёной собаке, о принцессе в хрустальном дворце, о двенадцати лесных разбойниках, о корабле, который отправился в Ледовитый океан, и о папе римском, затеявшем диспут с великими раввинами; и сказки про зверей,

бесов, духов, чертей-пересмешников, колдунов, карликов, вурдалаков; про чудовище пипернотер — получеловека-полужверя и про люстру из Праги. И каждая, сказка имела свой аромат, и все они были полны особого очарования. ... Слыхал ли он их от кого-нибудь или сам выдумывал — до сих пор не могу понять. Знаю только одно: они струились из него, словно из источника, неисчерпаемого источника. И рассказ шёл у него гладко, как по маслу, тянулся, как бесконечная шёлковая нить. И сладостен был его голос, сладостна была его речь, точно мёд. А щёки загорались, глаза подёргивались лёгкой дымкой, становились задумчивыми и влажными»¹⁰.

Сирота Шмулик мечтал найти огромный клад, зарытый когда-то Богданом Хмельницким где-то здесь, в Воронкове, по ту сторону синагоги, и заразил своей мечтой Шолома: этот клад не раз блеснёт своими сокровищами в воображении писателя, когда ему нечем будет оплатить квартиру или не на что справить субботний праздник. «Отразились ли когда-нибудь удивительные сказки бедного сироты на произведениях его друга Шолома, когда Шолом, сын Нохума Вевикова, стал Шолом-Алейхемом, — трудно сказать. Одно ясно,

¹⁰ «С ярмарки».

Шмулик обогатил его фантазию, расширил кругозор. Грёзы и мечты Шмулика о кладах, о чудодейственных камнях и тому подобных прекрасных вещах и до сих пор дороги его сердцу. Возможно, в другой форме, в других образах, но они живут в нём и по нынешний день»¹¹.

Мы говорим о писателе, поэтому и останавливаемся прежде всего на том, что могло повлиять и повлияло на формирование писательской личности: актёрский талант пересмешника — раз; пылкая фантазия — два; и — скоро об этом скажем — красивый почерк и страсть к самому письму. А пока о воображении: оно у мальчика действительно было богатым: дома ему представлялись городами, а дворы — странами; деревья — людьми; девушки — принцессами; богатые молодые люди — принцами; травы — бесчисленными войсками; колючки и крапива — филистимлянами и моавитянами, на которых он шёл войной.

Однако нам бы не хотелось пересластить портрет писателя в детстве или далеко увести его образ от мира, в котором он жил. Шолом рос и необычным, и обычным ребёнком, вместе с другими мальчиками приворовывал мелочь из

¹¹ Тоже.

кружки для пожертвований и из лавки родителей; резался в карты, пока учитель не видит; лгал, пропускал слова молитвы (а напомним, что Шолом воспитывался в патриархальной богобоязненной семье, где обращение к богу — свято и основа основ). В небольшой статье «К моей биографии» Шолом-Алейхем вспоминает также и о товарище постарше — Эле, сыне Кейли, — который «... рассказывал нам гадкие истории, вводил нас в искушение, развращал нас, превращал преждевременно во взрослых»¹². Впрочем, как раз Элины рассказы меньше всего повлияют на творчество Шолом-Алейхема, оно всегда будет исключительно целомудренным — как и личная жизнь писателя.

Зато мальчишеский местечковый игровой фольклор уж точно повлиял. Абсурдные, в которых важен только ритм, «походные» песенки или песенки, специально существующие для разного рода занятий, например, для рисования человечка: «Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая, ручка, ручка и кружок, ножка, ножка и пупок...» Ну и, конечно, игра в придумывание к любому, абсолютно любому имени рифмы: «Мотл-капотл, Друмен-дротл, Иосеф-сотл, Эрец-кнотл», или

¹² Перевод Р. Рубиной.

«Лейбл-капейбл, Друмендребл, Иосеф-сейбл, Эрец-кнейбл», или «Янкл-капанкл, Друмен-дранкл, Иосеф-санкл, Эрец-кнанкл». А ещё — язык-перевёртыш: «... то есть как говорить всё наоборот. Например: «Тов я мав мад в удром». Это значит: «Вот я вам дам в морду». Или: «А шикук шечох?» — «А кукиш хочешь?» На таком языке Шолом мог говорить целый час без умолку. Это ведь сплошное удовольствие — вы можете говорить человеку всё, что угодно, прямо в глаза, а он дурак дураком и ничего не понимает» 13.

Одно из своих самых знаменитых произведений — полусказку-полурасказ «Заколдованный портной» (1901) — Шолом-Алейхем закончит словами, которые цитируют все, программными для его творчества словами: «Смеяться полезно. Врачи советуют смеяться...» Смех как лекарство, лекарство от страха. Страх жизни и страха смерти. Первое название «Заколдованного портного» — довольно страшноватой, если вдуматься, истории, страшноватой не своим полусказочным, гоголевским колоритом, а трагической безысходностью человеческой жизни — «Повесть без конца». В произведениях Шолом-Алейхема, при

13 «С ярмарки».

всей их юмористичности, практически никогда нет хеппи-энда: крах, смерть, разбитые мечты, разрушенная жизнь, — но нет и уныния — здоровый трагизм бытия, обильно, временами — через край, сдобренный смехом.

Смех против страха — известная формула. Еврейское религиозное воспитание подразумевало, прежде всего, богобоязненность, и сам Шолом-Алейхем пишет о себе-мальчике как о «по-настоящему благонравном и богобоязненном» — несмотря на все проказы и шалости, свойственные детству. И не в последнюю очередь непреодолимое мальчишеское стремление над всем пошутить и всё высмеять было, если хотите, детской реакцией на закладываемый семьёй и хедером в душу ребёнка страх перед Богом — грозным, всевидящим и не прощающим ничего, даже мелких прегрешений.

В «К моей биографии» Шолом-Алейхем скажет: «Детей в нашем доме воспитывали в строгости, держали в страхе божьем, отдавали к лучшему учителю — реб Зораху. И мы были по-настоящему благочестивы. Я помню ещё и теперь сладость слёз, которые мы проливали, слушая нравоучения учителя. А нравоучения читал